Приют Грез

Автор:
Эрих Ремарк

Приют Грез

Эрих Мария Ремарк

«Приют Грез» – первый роман Ремарка, который критики высмеяли за излишнюю сентиментальность и пафос. Однако это не помешало молодому автору стать впоследствии одним из величайших писателей.

Роман, в котором нет ни слова о войне.

Германия 20-х годов XX века. Обитатели «Приюта Грез» – дома талантливого художника и композитора Фрица – далеки от трудностей реальной жизни. Сердца героев наполнены первой любовью и надеждами на прекрасное будущее. Но все меняется со смертью Фрица.

Сумеют ли молодые люди пережить смерть своего друга и принять его отношение к жизни и искусству?

Эрих Мария Ремарк

Приют Грез

Роман

Памяти Фрица Херстемайера и Лючии Дитрих посвящаю

I

В цветущих садах веял майский ветерок От веток сирени, нависавших над оградой старой кладки, доносился густой сладкий аромат. Художник Фриц Шрамм медленно бродил по старинным переулкам городка. Время от времени он останавливался – там, где небольшой эркер или старинный фронтон, причудливо вырисовывающийся на фоне вечернего неба, приковывал к себе его взгляд. Рука художника невольно тянулась к альбому для эскизов и быстрыми штрихами набрасывала рисунок Остановившись в очередной раз, чтобы изобразить на бумаге небольшую полуразвалившуюся калитку, он вдруг улыбнулся, покачав головой, взглянул на карманные часы и зашагал быстрее. Однако вскоре он вновь замедлил шаги и лениво поплелся дальше. Пускай подождут, подумал он, вечер слишком прекрасен.

Перед ним навстречу вечеру шествовали влюбленные парочки.

Отпечаток пьянящего дня, лежавший на всех лицах, скрашивал морщины и неровности кожи – следы нужды, трудов и прожитых лет. Прошлые страдания теперь казались призрачными, как мираж. Приятный вечер прикрыл своими ласковыми руками резкие грани повседневности и провалы в прошлое и как бы говорил тихим голосом: «Погляди на эту весну кругом! Погляди на весну рядом с тобой!» А майский ветерок словно нашептывал на ухо: «Ни о чем не думай, не ломай себе голову, мир так прекрасен, так прекрасен…» И влюбленные крепче прижимались друг к другу и старались встретиться взглядами.

Несказанное любовное томление принес с собой ветер, напоенный ароматами далеких голубых гор и сиреневых садов окрест.

Фриц Шрамм задумчиво следил глазами за полетом ласточек, радостно круживших в синеве неба.

– Лу, – произнес он вдруг и тяжело вздохнул. Мысленно Фриц был весь в прошлом и шагал теперь машинально, не замечая весны. Пройдя вдоль улицы, обрамленной каштанами, он очутился возле дома, отделенного от проезжей части небольшим садом.

Сумерки уже сгустились. На дорожки опустилась сиреневая дымка. Фриц остановился и прислушался. Откуда-то доносилась музыка.

Теперь он уже смог различить нежный женский голос, исполнявший знакомую мелодию под аккомпанемент серебристых звуков рояля. Вечерний ветерок разносил песню по саду. Теперь Фриц смог уже разобрать и слова.

Сердце его перестало биться.

Песня из прошлого зазвучала в ушах, картины былого встали перед глазами, и горячо любимый, давно умолкший голос вновь запел.

Вне себя от волнения Фриц подошел поближе.

Это была та самая песня, которую так часто пела ему Она – Она, Исчезнувшая, Далекая, Ушедшая из жизни Лу…

Вечерний воздух полнился звуками, порожденными любовной тоской:

Слышу до сих пор, слышу до сих пор

Песню юности моей —

Сколько рек и гор, сколько рек и гор

Развели нас с ней![1 - Рюккерт Фр. Слышу до сих пор. Пер. В. Летучего.]

Растревоженный и взволнованный до глубины души, Фриц пересек сад и поднялся по ступенькам. Подойдя к двери музыкальной комнаты, он увидел зрелище столь прелестное, что встал в проеме как вкопанный.

Комната казалась темно-синей из-за сгустившихся сумерек На рояле горели две толстые свечи. В их свете ослепительно сверкали белые клавиши, распространяя нежные золотистые отблески по всей комнате и обрамляя сказочным сиянием белокурые волосы и нежный профиль молоденькой девушки, сидевшей за роялем. Руки ее небрежно покоились на клавишах. Изящно очерченный рот выдавал легкую грусть, а в синих глазах таилась глубокая печаль.

Фриц тихонько проследовал по террасе дальше. Из какой-то двери навстречу ему вышла хозяйка дома.

– Наконец-то, господин Шрамм, – сказала она сердечно, приглушенным голосом, – а мы уж и не надеялись, что вы к нам заглянете.

– Корите меня, сударыня, – ответил Фриц, склоняясь к ее руке, – это все вечер, этот восхитительный вечер всему виной. Но…

Он указал глазами на дверь в музыкальную комнату.

– Да, у нас новая гостья. Моя племянница возвратилась из пансиона. Однако пойдемте же, госпожа советница Фридхайм уже вне себя от нетерпения. Да вот и она сама.

– Ах, ну конечно же. – Фриц обменялся понимающей улыбкой с хозяйкой дома.

Дверь распахнулась, и весьма полнотелая дама, шумя юбками, устремилась к Фрицу.

– Все же он явился, наш маэстро? – воскликнула она и сжала обе его руки. – Ваши друзья безответственные люди, воистину безответственные. – Она ласково разглядывала его в лорнет. – Просто бросили нас на произвол судьбы. Ведь мы все жаждем услышать из ваших уст обещанный рассказ о благословенной стране Италии.

– Вы правы, сударыня, – улыбнулся Фриц, – но по дороге сюда я немного задержался, чтобы сделать несколько интересных набросков. Я их тоже принес показать вам.

– Вы их принесли? О, как это мило! Дайте же их мне, ах, как интересно!

С этими словами госпожа Фридхайм устремилась вперед, неся рисунки, в то время как Фриц и хозяйка дома следовали за ней, немного отстав.

– По-прежнему полна энтузиазма, – заметил Фриц. – Будь то импрессионизм или экспрессионизм, будь то музыка, литература или живопись – безразлично: она

восхищается всем, что именуется искусством.

– И в еще большей степени – самими людьми искусства, – подхватила хозяйка дома. – Теперь она вознамерилась подсадить в седло одного молодого поэта. Вы ведь его тоже знаете, это юный Вольфрам…

– Тот, что носит красные галстуки и пишет свободным стихом?

– Не будьте так язвительны. Молодежи свойственно желание выделиться. Некоторые не могут выразить свое революционное чувство иначе, чем нацепив красный галстук.

– Вчера мне пришли в голову аналогичные мысли, когда я увиделся с нашим славным Мюллером, сапожных дел мастером. Он, отец пятерых детей и муж весьма энергичной жены, в десять вечера обязан быть дома, голосует за консерваторов и вообще добропорядочный гражданин. Но однажды, когда я обнаружил у него на книжной полке несколько томов Маркса и Лассаля, он признался, что читал их давненько – в молодости. Кто знает, кем только он не собирался тогда стать! Но сама жизнь и верноподданический характер, унаследованный им от предков, повернули дело иначе. И главное – он этому только рад. Так что все его запылившиеся молодые мечтания, все его великие планы и идеи в конце концов воплотились лишь в красном галстуке, который он надевает по воскресеньям… Такой красный галстук наводит, что ни говорите, на весьма грустные мысли. А разве с нами, сударыня, не происходит что-то очень похожее? Что в конечном счете у нас остается? Конечно, красный галстук – это не так уж много, но ведь частенько бывает и куда меньше. Локон, выцветшая фотография, затухающие воспоминания… покуда ты сам не станешь для других чем-то аналогичным… Ах, лучше не думать об этом…

– Об этом не следует думать, дорогой друг, – тихо повторила хозяйка дома, – особенно в мае, в такой майский вечер.

– Но именно этот вечер и настроил меня на мрачные мысли. Не странно ли, что как раз красота и счастье внушают человеку самые грустные мысли? Однако на меня минорное настроение навеяло и кое-что другое…

Из гостиной до них донесся трубный голос советницы:

– Да куда же он подевался?

– Вот у кого настроение всегда мажорное, – улыбнулась хозяйка дома и вместе с Фрицем вошла в гостиную.

– Ну наконец-то! – воскликнула советница. – А мы уж тут чуть было не заподозрили неладное, видя ваше желание уединиться!

– Да что вы, – возразила хозяйка дома и указала на свои еще густые волосы. – При моей-то седине?

– Для этого мы все же староваты, – добавил Фриц.

– Бог ты мой, вот это мило: вы – и вдруг староваты, – пророкотала советница. – В ваши-то тридцать восемь лет!

– Болезнь старит.

– А, пустяки, пустые отговорки. Если сердце молодо – весь человек молод! Ну входите же, я распорядилась оставить вам чашку чая!

С этими словами советница, невзирая на отчаянные протесты Фрица, наложила ему на тарелку такую кучу пирожных, что хватило бы на целую роту.

Фриц немного поел и огляделся. Чего-то не хватало. Тут дверь в музыкальную комнату отворилась, и вместе с вошедшей юной девушкой в гостиную ворвался аромат сирени.

Хозяйка дома по-матерински нежно обняла ее за плечи.

– Не хватит ли тебе мечтать в одиночестве, Элизабет? Господин Шрамм все-таки пришел к нам…

Фриц поднялся со стула и восхищенно загляделся на очаровательное создание.

– Моя племянница Элизабет Хайндорф. Господин Шрамм, наш дорогой друг, – представила их госпожа Хайндорф.

Два синих глаза взглянули в лицо Фрица, и узкая рука легла в его руку.

– Я немного опоздал, – извинился Фриц.

– Вас легко понять. Когда кругом так красиво, совсем не хочется общаться.

– И все же – в такие минуты тоже тянет к людям.

– По сути – к человеку, которого и на свете-то нет.

– Может быть, к человечеству в этом одном человеке.

– К чему-то безымянному…

– Наша самая светлая тоска никогда не имеет имени…

– Это причиняет такую боль…

– Только в самом начале… Позже, когда все уже знаешь, научаешься быть скромнее. Жизнь – это чудо, но чудес она не творит.

– О нет, творит! – Глаза Элизабет сияли.

Фрица тронула ее горячность. Он вспомнил свою юность, когда он с той же искренностью произносил те же самые слова. И ощутил горячее желание сделать так, чтобы этому прелестному существу не сломали его веру в чудо.

– Верите ли вы, что в жизни бывают чудеса, милая барышня?

– О да!

– Сохраните эту веру! Несмотря ни на что! Вопреки всему! Она справедлива! Не хотите ли сесть рядом?

Фриц подвинул для нее кресло. Элизабет уселась.

– А вы, господин Шрамм, верите в чудо?

Фриц несколько секунд молча смотрел на нее. Потом сказал четко и ясно:

– Да!

Госпожа Хайндорф подала знак слуге. Тот принес на подносе сигары, сигареты и ликер.

– Можете курить, господин Шрамм, – кивнула она Фрицу.

– Это моя слабость, – сказал Фриц и взял сигарету.

– Пауль, принесите и мне сигарету! – крикнула советница.

– Сигару… – тихонько шепнул слуге Фриц. Тот ухмыльнулся и подал советнице коробку черных гавайских сигар.

– Может, вы принесете мне еще и трубку? – возмущенно фыркнула та.

Увидев, что Фриц засмеялся, она уловила заговор между ними и погрозила пальцем.

– Вы тоже курите? – спросил Фриц у Элизабет.

– Нет, я не люблю, когда женщины курят.

– Вы правы. Не каждой женщине это идет. Вам лично совсем не пойдет!

– Что он говорит? – воскликнула советница, заподозрив еще одну шпильку в свой адрес.

– Мы говорили о курящих женщинах…

– Ну, вы, художник, вряд ли отличаетесь узостью взглядов.

– Верно, но я смотрю на это с художественной точки зрения.

– Как это?

– Разные бывают курильщики.

– Но в любом случае они окружают себя дымовой завесой, то есть наводят туману, – улыбнулась хозяйка дома.

Тут уж засмеялась и советница:

– Потому-то мужчины и курят так много, не правда ли, господин Шрамм?

– Конечно. У мужчин курение – потребность, а у женщин – кокетство!

– Ах, вот как! Вы считаете, что сигарета не доставляет нам никакого удовольствия? Что мы не способны ощутить ее вкус?

– Этого я не думаю. Но женщина может к чему угодно привыкнуть и от чего угодно отвыкнуть, если полагает, что это ей идет или нет.

– Значит, курение мне идет, – иронично улыбнувшись, заметила советница.

– Я сказал: если она полагает! Это еще не значит, что так оно и есть.

– О, маэстро, как вы жестоки.

– Вы, сударыня, находитесь над схваткой. Ведь причина курения у женщин уже указывает, какой женщине можно курить. Именно той, которая кокетничает.

– Вот и отлично, – усмехнулась советница и жадно затянулась.

– Женщина ангельского типа с сигаретой во рту смотрится не эстетично. А демонический тип может благодаря сигарете выглядеть весьма обольстительно. И вообще – черноглазой брюнетке курение идет больше, чем светловолосой. Женщины инстинктивно чувствуют это. Вот почему на юге гораздо больше заядлых курильщиц.

– Я этого не люблю, – заметила Элизабет. Сквозь открытое окно издалека донеслось пение.

Разговор перешел на обыденные темы. Фриц в задумчивости откинулся на спинку кресла, окутавшись колечками голубоватого дыма. Он думал о своей неоконченной картине, стоявшей на мольберте. Она должна была называться «Спасение» и изображать сломленного горем мужчину и девушку, нежно гладящую его по волосам. Для мужчины он уже нашел натурщика. И теперь ожидал, когда счастливый случай поможет ему подобрать модель для девушки. Она должна быть воздушной и очень доброй. Но пока ничего определенного не встретилось. Руки ее должны излучать свет, доброту и радость. Погруженный в свои мысли, Фриц взглянул в сторону Элизабет. Вот кто мог бы стать этой светоносицей, полной тихой сдержанной силы. Ее тонкий, нежный профиль на фоне темного гобелена напоминал добрую сказку Эйхендорфа[2 - Йозеф Эйхендорф (1788–1857) – немецкий писатель-романтик. – Примеч. ред.].

Тут Элизабет немного склонила головку.

Фриц вдруг весь напрягся. Вот она… Вот она – именно та, которую он искал, – девушка для его картины. Он даже подался вперед. И само лицо, и его выражение – все такое, как надо. Он решил, что сразу же улучит минутку и поговорит об этом с госпожой Хайндорф.

Задумавшись о своем, он совсем пропустил мимо ушей разговор за столом. А ораторствовал большей частью молодой поэт, до того державшийся скромно и молчаливо.

Теперь же он говорил без умолку, причем очень возбужденно жестикулировал, назвал Гёте филистером, а его житейскую мудрость «уютом прикаминной скамеечки».

Фриц усмехнулся. Вечно эта трескотня, этот перезвон бубенцов… Между тем жизнь спокойно течет себе дальше.

Молодой поэт принялся за Эйхендорфа:

– Эйхендорф – эта сентиментальная романтическая размазня – давно устарел…

Но тут Элизабет перебила его речи:

– А я люблю Эйхендорфа!

Юноша умолк, смешавшись.

– Да, – продолжала Элизабет, – он намного душевнее, чем многие современные поэты. Ему совсем не свойственно пустозвонство. И он так любит лес, так любит бродить пешком!

– Готов вас поддержать, – вступил в разговор Фриц. – Я тоже очень люблю его. Его новеллы и стихи полны неувядаемой красоты. Он очень немецкий поэт! И при этом лишен национальной узости. Нынче это большая редкость. Сколько раз еще до поездки в Италию я повторял в уме или бормотал ночью вслух его строки:

Как золото звезды блистали,

А я был так одинок.

Вслушивался я в дали,

Где пел почтовый рожок.

В сердце моем тревога,

Виски мои горячи…

Кого прельстила дорога

В роскошной летней ночи?[3 - Эйхендорф И. Томление. Пер. В. Микушевича.]

– Вы были в Италии… – медленно промолвила Элизабет.

– Эта тоска по Италии почему-то сидит в нас, немцах, – заметил Фриц. – Во всех поголовно. Вероятно, она, эта тоска по итальянскому солнцу, коренится в двойственности немецкой души – точно также, как и тоска по мраморному храму Акрополя. И Гогенштауфены[4 - Гогенштауфены – династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138–1254 гг., в 1197–1268 гг. также короли Сицилийского королевства. Последний Гогенштауфен – Конрадин, сын Конрада IV – погиб в Италии в 1268 г. в возрасте 16 лет.] из-за своей любви к Италии потерявшие империю и жизнь, от Барбароссы вплоть до юного Конрадина, казненного итальянскими палачами, – и наши художники, поэты, Эйхендорф, Швинд, Гейнзе, Мюллер[5 - Мориц фон Швинд (1804–1871) – австрийский живописец и график. Иоганн Якоб Вильгельм Гейнзе (1746–1803) – немецкий писатель и теоретик искусства. Вильгельм Мюллер (1794–1827) – немецкий поэт-романтик. – Примеч. ред.] Гёте – его «Миньона»…

– Ты знаешь край… – затянула было советница.

– Спой-ка нам это, Элизабет, – попросила госпожа Хайндорф.

Ничуть не жеманясь, Элизабет направилась к роялю.

Откинувшись на спинку стула, Фриц слушал и не мог оторвать взгляда от изящной головки с тяжелым узлом золотых волос на затылке, окруженной нежным мерцающим ореолом света.

– Ты знаешь край…

В саду зашумели кроны деревьев. Сквозь тихие звуки вступления вновь зазвучал чистый девичий голос:

– Ты видел дом…

Наступила тишина. Медленно растаял в воздухе последний аккорд. Элизабет встала и вышла на террасу.

Молодой поэт пробасил:

– Но это же прекрасно!

Какое-то время все молча оставались на своих местах, затем советница предложила гостям разойтись. Но хозяйка дома все еще не хотела отпускать Фрица, – ведь он пришел так поздно.

И Фриц остался, поджидая, когда хозяйка дома проводит гостей.

Тут в гостиную вернулась Элизабет. Фриц только собрался поблагодарить ее за пение, как вдруг заметил, что она плачет. В испуге он схватил ее за руку.

– Да нет, пустяки, – пробормотала Элизабет, – сущие пустяки. Просто на меня что-то нашло. Душа была так полна, что я вышла на террасу. Услышала внизу девичий смех и низкий мужской голос. И тут вдруг накатило. Не говорите тетушке, к тому же все уже и прошло.

– Можете довериться мне, – проронил Фриц.

– Я и сама это чувствую, мне с вами так спокойно, хоть я вас почти не знаю. Мне кажется, вы всегда будете готовы помочь мне, если понадобится помощь.

– Вы совершенно правы. – Фриц был растроган. – Своими словами вы очень облегчаете мою задачу. Дело в том, что я собирался обратиться к вам с большой просьбой. Сейчас я работаю над одной картиной. На ней два человека – мужчина и девушка.

Мужчина, сломленный ударами судьбы, в полном отчаянии уронил голову на руки. Девушка, глаза и руки которой источают свет, нежно гладит его по волосам. Мужчину я уже написал. А модель для девушки нашел только сегодня. Это вы. Согласитесь ли вы и разрешите ли вас написать?

– А вы очень любите эту свою картину? – спросила Элизабет вместо того, чтобы ответить.

– Очень. Ведь в ней есть и другая идея. Она должна изображать ту минуту, когда человек находит дорогу от Я к Ты, когда его эгоизм рушится, когда он отказывается жить только для себя и отдает свой труд какой-то общности людей. Молодежи. Или всему человечеству. А то, что, отказавшись от счастья, он все же находит известное утешение и величайшую компенсацию, должна

символизировать светозарная девушка. Трагедия творчества…

– Говорят, все художники до такой степени любят свои творения только потому, что они составляют часть их самих.

– Что ж, так, пожалуй, оно и есть.

В комнату вернулась госпожа Хайндорф.

– Стало совсем темно. Может, зажечь свет?

– Не надо, – попросила Элизабет. – Сумрак так прекрасен.

– Сударыня, мне нужно кое-что вам сообщить. Вы, вероятно, помните, каких мучений стоило мне найти первую модель для моей картины. И вот теперь с потрясающей легкостью я нашел вторую в вашей племяннице. Разрешите ли вы ей позировать мне?

– С радостью, дорогой друг, – ответила госпожа Хайндорф. – Я так рада, что ваши желания столь быстро исполняются.

– И вы бы не возражали, если бы мы уже вскоре приступили к сеансам?

– Естественно, по мне так хоть завтра…

– А где? Я бы предпочел приходить к вам, хотя у меня в мастерской все под рукой, да и освещение лучше.

Госпожа Хайндорф поглядела на него долгим взглядом, потом перевела его на Элизабет.

– Ну, так как, Элизабет?

Та ответила сияющими от радости глазами.

– Ну хорошо, – мягко заметила госпожа Хайндорф, – я уже знаю, что ты любишь больше всего. Она – большая мечтательница. – Госпожа Хайндорф с улыбкой повернулась к Фрицу, а потом, сразу посерьезнев и твердо глядя ему в глаза, добавила: – Я знаю вас, господин Шрамм, и этого достаточно. Почему бы моей племяннице не приходить к вам! Какое нам дело до отживших понятий! Когда ей прийти завтра?

– Благодарю вас, сударыня, – Фриц почтительно прижал ее руку к губам, – в три часа, если вы ничего не имеете против.

– Ну так как, Элизабет?

Та энергично кивнула:

– Да-да…

Госпожа Хайндорф улыбнулась:

– Так я и думала. Однако вечер нынче так хорош. Давайте посидим еще немного на террасе. И выпьем за вашу находку рюмочку светлого, золотистого вина.

Она позвонила, велела слуге перенести плетеные кресла и подушки на террасу и зажечь несколько цветных фонариков.

Ночь уже вполне вступила в свои права. Среди цветущих вишневых деревьев висела полная луна. Вдали чернели леса, окруженные серебристым сиянием. В небе мерцали первые звезды. Вино искрилось в бокалах.

Госпожа Хайндорф подняла свой бокал:

– Выпьем за вашу удачную находку, за вашу картину и за искусство!

Бокалы легонько звякнули.

– За находку, – тихо промолвил Фриц и осушил свой бокал одним духом.

Все помолчали. Каждый погрузился в свои мысли.

– Лу… – внезапно вырвалось у Фрица.

– Рана все еще не зажила? – тихонько осведомилась госпожа Хайндорф.

– Она не заживет никогда, – пробормотал Фриц и только тут спохватился. – Не хочу жаловаться. Мне есть что вспомнить, содержание моей жизни не было лишь пустыми грезами, как у моего бедного друга Хермайера, давно спящего в земле сырой.

– Расскажите о нем.

– Он был художник-декоратор. Из заработанных денег он отрывал от себя каждый грош, чтобы купить книг. Он читал ночи напролет. Знал наизусть чуть ли не всего Гёте. Мало-помалу в нем самом проснулся поэт. С той поры он писал ночами стихи и драмы. И твердо верил в свой успех. Как часто он с воодушевлением говорил о том, что на гонорар за свою драму, которая непременно произведет фурор, он поедет в Италию! И даже учил для этого итальянский язык… Хермайер не дожил ни до успеха своей драмы, ни до поездки в Италию. Вскоре он скончался от застарелой болезни легких. Фриц невидящими глазами уставился в одну точку перед собой.

– Кто-то может сказать: один из множества непрактичных дураков-немцев. И вероятно, будет прав. Но для меня в этом заключено больше величия, чем в завоевании мира.

Он умолк и стал глядеть в темноту. В тишине ночи где-то тихонько плескался фонтан. И волшебно светились звезды.

– Все здесь дышит миром, – промолвила Элизабет.

– Словно уже наступило лето, немецкая летняя ночь, – добавила госпожа Хайндорф.

– В немецкой летней ночи заключена странная магия, – раздумчиво начал Фриц. – И вообще в нашей родине. Пожалуй, ни один другой народ не

испытывает такого восхищения перед чужестранным, такой тяги к другим мирам и тоски по дальним далям, как мы, немцы. Более того, эти чувства частенько даже заходят слишком далеко и оборачиваются обезьянничаньем, не заслуживающим ничего, кроме презрения. И тем не менее пусть наш добропорядочный немец Шмидт спокойно станет американским гражданином Смитом, пусть он говорит по-английски, назовет своих детей Мак и Мод и станет плевать на Германию. Уверяю вас, все это будет внешняя или показная ребячливость! Как только этот мистер Смит услышит звон рождественских колоколов, почует аромат родной рождественской коврижки или же увидит усеянную огнями рождественскую елку, он тут же, несмотря на свой English spoken[6 - Разговорный английский (англ.).] и Мод с Маком, вновь превратится в старого доброго немца Шмидта и, вопреки всем деловым ухваткам и погоне за долларами, вновь поверит в сказки и чудеса, которые вошли в плоть и кровь каждого настоящего немца, – я имею в виду не тех, кто породнился с евреями или славянами. И пусть даже он тысячи раз глухими беззвездными ночами кусал себе руки, он все равно, все равно превратится! Это и есть самое упоительное, вечно юное в нашем народе, это и есть многократно высмеянный простодушный немецкий Михель, его детская непрактичность. Я не политик и плюю на все политические течения. Я – человек, это и есть моя политика! К тому же я еще и художник. Поэтому для меня непрактичный Михель, все еще увенчанный невидимой короной, для которого жизнь по-прежнему полна чудес, восторгов и веры, стоит намного выше холодного и расчетливого дельца, каковыми стали наши кузены, для коих жизнь всего лишь арифметическая задача. Мир прекрасен. Но у нас он прекраснее всего. Это субъективно, и я понимаю, что англичанин, француз, испанец тоже имеют право так сказать. А уж итальянец тем более. И все же я это говорю и тоже имею на это право.

Когда я в Риме под сверкающим синевой куполом неба восхищался пентеликским и каррарским мрамором, на меня вдруг навалилась такая невыразимая тоска по летней ночи в Германии, такая ностальгия, что я тут же уехал домой и растрогался чуть ли не до слез, вновь увидев первую березку…

Фриц говорил это, уже стоя, а кончив, порывисто поднял свой бокал:

– Этот последний бокал я посвящаю Родине, Германии!

Подул легкий ветерок, звезды замерцали, и пестрые фонарики едва заметно качнулись.

Звякнули бокалы. Элизабет воскликнула:

– За нашу дорогую, любимую Родину!

Вино отливало золотом.

Все осушили бокалы до дна.

II

Фриц Шрамм украшал свою мансарду, свой Приют Грез. Накинув желтоватую холщовую куртку, он энергично сновал по комнате, поставил три лилии в старинный оловянный кувшин и удовлетворенно оглядел дело своих рук. Потом не торопясь набил свою трубку темного дерева и стал пускать голубоватые кольца дыма в воздух, полный танцующих пылинок.

В дверь тихонько постучали. Фриц поднялся.

– Прошу.

Элизабет робко вошла. И невольно остановилась при виде того, что представилось ее взору.

Небольшая мансарда с темными стенами. На них – картины, множество картин. Вдоль одной стены – темный стеллаж с книгами, яркие переплеты которых вспыхивали на солнце. На полке, покрытой темной тканью, – сверкающие раковины, разноцветные камни и золотистые куски янтаря. Посреди них – фигурка коричневого танцовщика из мореного дуба. Слева лежал череп, увенчанный венком из красных роз. Чаша, полная темно-красных роз, под висящей на стене пурпурной тканью с гипсовой маской, снятой с лица умершего Бетховена. На скошенной стене – несколько офортов и картина, затянутая черным крепом.

– Добро пожаловать в Приют Грез, – сказал Фриц и в ответ на вопрошающий взгляд Элизабет добавил: – Там – мой уголок Бетховена, как раз рядом с Окном

Сказок. Все эти вещи – дорогие напоминания и сувениры. Перед ликом Бетховена всегда цветут розы в знак молчаливой памяти и немого восхищения. Цветы так искренни – и всегда красивы.

Элизабет была совершенно подавлена необычайным уютом и волшебством этой комнатки. Цветы столь нежно пахли, что у нее чуть слезы не выступили на глазах. Она сама не могла понять почему. Как странно. С некоторых пор она часто плакала – без всякой причины. И часто улыбалась и радовалась всей душой – тоже без причины. Ей казалось, что вот этому человеку она может открыть всю душу. Удивительно покойно с ним.

– Для работы осталось всего два часа света, – сказал Фриц. – Не бойтесь, вам не придется провести их стоя. Может, в общем и целом не больше получаса. Но мне нужно будет часто на вас смотреть, так что два часа быстро пролетят. На какое время отпустила вас госпожа Хайндорф?

– Она разрешила мне оставаться тут, сколько захочу.

– Чудесно. Тогда мы сначала немного порисуем, а потом сможем и поболтать, верно? Сейчас мы пойдем в мастерскую.

Они вошли в соседнее помещение, где были огромные окна со светлыми занавесками; на стенах висело множество неоконченных эскизов и набросков.

Фриц вытащил на свет божий какую-то папку и установил поровнее одну из картин.

– Я уже рассказал вам вкратце главную мысль моей картины, насколько это вообще возможно. Здесь, в папке, мои эскизы к ней. А здесь – штудии с мужчиной-натурщиком. Тут, на мольберте, он уже написан маслом. По этим наброскам вы видите, как примерно я представлял себе девушку. Вы замечаете, что поза ее везде почти совпадает, в то время как лицо, да и фигура, девушки меняются, – признак того, что я все время пребывал в поиске. Но ищущий находит. Не попробовать ли нам сейчас зафиксировать позу? Вам лучше всего встать перед этим голубым занавесом. А теперь подумайте об отчаявшемся страннике в пустыне, которому вы, словно посланец небес, приносите спасительную воду жизни. Вот так, хорошо, руки немного ниже, лицо чуть ближе к занавесу… Стойте так, пожалуйста.

Фриц схватил лист бумаги, и карандаш размашисто полетел по белому полю.

– Так, – сказал Фриц спустя какое-то время, – движение нам удалось ухватить. Теперь только быстренько зафиксировать саму позу, чтобы завтра мы могли снова в нее встать.

Он взял фотоаппарат, вставил кассету и нажал на спуск

– Благодарю! Вы свободны. Элизабет подошла поближе.

– Можно взглянуть?

– Пожалуйста, сделайте одолжение.

– Но ведь покамест еще ничего не видно… Фриц улыбнулся:

– Так быстро это не делается. Вот тут вы видите предплечье и наиболее четко – само плечо. Поначалу самое главное – ухватить движение. Однако вскоре вы будете удовлетворены в большей степени. Дело в том, что я хотел бы набросать карандашом ваш профиль. Или вы уже устали? Непременно скажите, если так. Когда на художника снисходит вдохновение, он становится ужасно бесцеремонным. Нет? Не устали? Ну тогда…

Он пододвинул ей кресло.

Головка Элизабет прелестно выделялась на голубом фоне. Прежде чем взяться за карандаш, Фриц какое-то время очарованно разглядывал изящные округлости линий. Довольно долго он работал без перерыва. Потом прищурился и начал распределять светотени.

– Вам скучно? – спросил он. – Увлекшись работой, я совсем забыл, что должен вас развлекать…

– Нет, не должны, – возразила Элизабет. – Я вижу, на стене передо мной висит портрет красивого юноши, я поглощена разглядыванием этого лица. В нем столько молодой энергии, дерзости и в то же время так много рефлексии, у рта

даже образовались горькие складки. Прекрасный портрет…

– Соответствует оригиналу.

– Он живет где-то поблизости?

– Да, в моей комнате.

– Разве с вами еще кто-то живет?

– Он – мой юный друг и потому живет у меня. Его зовут Эрнст Винтер, теперь он студент Берлинской консерватории.

– Очевидно, он очень любит вас.

– Я отвечаю ему взаимностью.

– Но он намного моложе.

– На этом как раз и покоится наша дружба. Он юн, вспыльчив и невоздержан – а иногда и мечтателен, и скептичен, как вы весьма верно подметили. Я же подвел итог своей жизни и стараюсь понять людей, составляющих мой круг общения, чтобы гармонично расширить его. Последствия этого – зрелость и опыт. Так мы взаимно дополняем друг друга. В моей дружбе с ним присутствует нечто вроде отеческого чувства, он нуждается во мне больше, чем я в нем. Однако в любви и дружбе никогда не спрашивают, получишь ли обратно той же монетой. Он у меня не один. У меня бывают еще несколько человек, все люди молодые – и все они мои друзья. Я люблю молодежь и радуюсь, если она готова что-то взять у меня.

– Вы подвели итог своей жизни?

– Это звучит, пожалуй, немного горько, но на самом деле никакой горечи и в помине нет. Я большой жизнелюб. Самоотречение никому не нужно. Более того: я прожил свою жизнь сполна, имел все, что жизнь хотела и могла мне дать. Правда, все пришло и ушло чересчур быстро. Поэтому я и отодвинулся немного раньше других в тень за пределы светового круга. И в этом тоже есть своя

прелесть. Актер стал в большей степени зрителем.

– Разве жизнь – это спектакль?

– И да, и нет. Тут вряд ли можно доискаться до истины. Наша способность к пониманию похожа на змею, кусающую себя за хвост. Объективного познания не существует. Мы все обречены на вечный бой. Кто же будет судить и проводить различие между истиной и зрелищем, между «быть» и «казаться»? Вот он, – Фриц указал на портрет Эрнста, – тоже из породы таких борцов. Он человек действия и потому легче склоняется к осуждению жизни, чем другие, способные лишь обсасывать свои блеклые мысли. Но ведь мысли невидимы, – а то, чего никто не видит, по законам этого мира разрешено. Зато дела – вот где беда-то! Ну, в общем, он достаточно силен и бесцеремонен, чтобы плевать на оценку общества. Покамест она ему и не нужна – и слава Богу. Вообще, наша законность – ах! Ежели кто-нибудь укокошит человека, он будет наказан как убийца. А ежели я открою большую фабрику и тем самым уничтожу сотню мелких собственников, то я – добропорядочный делец. За разговором я набросал эскиз вашей головы, а кроме того – начало смеркаться, так что нам придется закончить.

Он показал Элизабет рисунок и медленно убрал на место рисовальные принадлежности. Потом огляделся, ища ее.

Элизабет стояла перед портретом Эрнста Винтера и внимательно его разглядывала.

– Он скоро приедет, – заметил Фриц. – У него каникулы, которые продлятся несколько недель. И рояль здесь, в мастерской, стоит для него. Эрнст обожает импровизировать. Больше всего я люблю слушать в его исполнении Бетховена и Шопена. Однако пойдемте! В Приюте Грез наступает час красоты: закат солнца.

Немного помедлив, Элизабет быстрыми шагами подошла к Фрицу, сжала обеими руками его руку и сказала:

– Вы очень хороший человек. У вас все так красиво, так непривычно… Никаких будней – сплошное воскресенье. Похоже на летний вечер. При этом у вас есть чувство родины и тяга к миру… Будьте и моим другом.

Фриц был тронут. После уличной пыли и бесцветных людишек он наткнулся на душу, столь же чистую, как синие итальянские озера. Фриц молча взял Элизабет за руку и направился в свой Приют Грез.

Темная мансарда встретила их сказочным предвечерним ароматом роз. Замирая от восторга, они остановились на пороге. Закат усеял последними золотыми отблесками суровое лицо Бетховена, а разноцветные камешки и раковины вспыхнули и засверкали волшебным светом.

На старинной резной полке стояли пестрые чашки, старая посуда и оловянные тарелки. Фриц осторожно вытащил откуда-то три изумительных зеленых бокала и пыльную бутылку. Он поставил бокалы на стол и молча разлил вино.

Один бокал Фриц пододвинул к Элизабет, – занятая своими мыслями, она молча следила за его действиями, – вокруг второго бокала положил розовый стебель из букета в бетховенской вазе, взял в руку третий и сказал:

– Давайте выпьем за нашу молодую дружбу, за все прекрасное в этом мире и за умершую…

Бокалы звякнули.

Элизабет застыла на миг. Потом по ее телу пробежала дрожь, и она до дна осушила бокал. Фриц взял розовый стебель, отломил одну розу, окунул ее в третий бокал и протянул цветок Элизабет. Затем вылил вино из третьего бокала в розы, стоявшие перед маской Бетховена, и подвинул их к женскому портрету, утопавшему в цветах. После этого Фриц медленно взял в руки старинный канделябр и зажег свечу.

– Ах, Лу… – пробормотал он, уже не владея собой, и взглянул на портрет. В мерцающем, дрожащем пламени свечи лицо словно ожило – казалось, будто прекрасные глаза улыбнулись, а алые губы дрогнули.

– Простите меня, – промолвил Фриц, – иногда на меня находит. В особенности, когда я пью в память о ней. Вино для мертвых губ, цветы для бесцветного лба…

Все отзвучало, исчезло… О, как далеко это все, что некогда было моим, моим…

Он умолк и посмотрел на Элизабет. Слегка откинув голову, она смотрела на него широко открытыми глазами и беззвучно плакала.

– Не надо плакать, – пробормотал Фриц. – Не надо…

Сумерки немного сгустились, пламя свечи засверкало ярче. В окно влетела бабочка, покружилась вокруг свечи и свалилась, опалив крылья.

– Бабочки… Люди… Кто только не опалил себе крылья на свече судьбы…

– Расскажите мне что-нибудь о своей жизни, – попросила Элизабет.

Фриц молча глядел на пламя.

– Она носила имя Луиза, но все называли ее Лу… Посмотрите на ее портрет в мерцающем пламени свечи – такой она была при жизни. Однажды я увидел Лу на прогулке весенним вечером. Она была прекрасна. Она была гаванью для кораблей моих желаний, ее глаза – звездами во мраке моего бытия, а ее душа – спасительным благом и мостиком над бездной моей отчужденности. Мы с ней прожили бурную, пьянящую весну и по брожению крови в наших жилах уже предчувствовали приближение жаркого лета. Но когда наступила осень, мы мало-помалу вернулись на землю. У меня были слабые легкие, и я был гол как сокол, а она – обручена с достойным человеком, которого уважала. С кровоточащим сердцем я вырвался из ее объятий: тогда я полагал, что смогу прожить всего несколько лет. Разве я мог приковать ее расцвет к моему увяданию? Вскоре после этого я продал несколько картин и уехал, так как забыть ее был не в состоянии. А когда спустя несколько недель тоска погнала меня назад, я узнал, что и она не смогла вынести разлуки. Она порвала с тем человеком и со своей семьей и хотела вернуться ко мне. Несмотря ни на что – ни на болезнь, ни на бедность, ни на проклятье семьи. Не найдя меня, она вернулась домой. И заболела. Ее последними словами были слова любви и мое имя. Так сказала ее мать. Когда я приехал, на ее могиле цвели темно-красные розы. Больше я ее никогда не видел… Забыть ее я не в силах. Жизнь без нее для меня – иллюзия и греза. Единственная радость – это часы сумерек, когда свечи горят перед ее портретом, написанным мной в счастливые дни. Тогда ее глаза вновь мерцают в обманчивом блеске пламени, как некогда, и ее нежные алые губы вновь улыбаются, как некогда, и дорогой, любимый голос шепчет давно отзвучавшие знакомые слова, – в такие минуты моя тоска дрожит и трепещет, а

душа благословляет мучительную память – и все, все поет старую песенку:

Слышу до сих пор, слышу до сих пор,

Песню юности моей…

Сумерки заполнили всю комнату, пламя свечи соткало корону вокруг золотых волос Элизабет. Она плакала и сквозь слезы смотрела на портрет покойницы. Все ее существо пронзил ужас перед великой загадкой жизни, время от времени даже мерещилось, будто ее пульс выстукивает одно-единственное слово: бренность. Пусть наше счастье взлетает до звезд и солнца и мы от радости воздеваем руки к небу, но однажды все наше счастье и все мечты кончаются, и остается одно и то же: плач о потерянном. Быть человеком – тяжкая доля! Хотеть вечно держать друг друга за руки – и вечно терять друг друга в соответствии с вечными законами. Всю жизнь бороться, сражаться, торжествовать, страдать, а в конце концов все потерять и остаться с единственным и последним утешением – песней о ласточке:

Сколько рек и гор, сколько рек и гор

Развели нас с ней!..

Ах, не принесет, ах, не принесет

Счастье ласточка с собой.

Но она поет, но она поет,

Как той весной.

Жизнь течет дальше, дальше, пока однажды и о нас не пропоют любимые уста:

Сколько рек и гор, сколько рек и гор

Развели нас с ней!..

С трудом подбирая слова, Фриц продолжал:

– У нее был небольшой, но приятный серебристый голосок Песню, которую она так любила, вы пели в тот вечер, когда я впервые вас увидел: «Слышу до сих пор…» Песня эта стала для меня символом. Когда я после месяцев мучений

вновь вернулся к жизни, у меня не осталось никаких личных желаний. Дабы не влачить жалкое существование, а приносить пользу людям, я собрал вокруг себя молодежь. Пришел Эрнст, потом и другие. Приносить пользу человечеству – слишком высокие слова для моих скромных усилий, но на большее меня не хватит, да я и не способен. Вот я и стараюсь помочь молодым стать людьми. И уже жить без них не могу. Так и течет моя жизнь день за днем, покуда не придет срок, тогда богиня Норна разорвет нить моей судьбы и меня вновь поглотит бескрайний мрак.

Между тем стало совсем темно.

В душе Элизабет звучали никогда не слышанные мелодии. Ее переполняло желание пожертвовать всем для этого человека, открыть ему душу и найти у него понимание и снисхождение. Ее бил озноб, и на великое и неизбежное одиночество жизни она смотрела обезумевшими от горя глазами.

Вскочив с места, Элизабет схватила Фрица за руку. И, вспыхнув, выпалила сквозь слезы:

– Позвольте и мне быть рядом с вами… Я так хочу помогать вам… Помогите же и вы мне… Жизнь зачастую так сложна… И так нужно, чтобы рядом кто-то был… Фриц взглянул ей в глаза.

– Элизабет, – прошептал он едва слышно. – Ты так на нее похожа. Я принял тебя в свое сердце, как только услышал твой голос. Мой дорогой юный друг…

– Благодарю вас, о благодарю вас, – пылко воскликнула Элизабет.

– Нет, не то, – перебил ее Фриц, – мои молодые друзья говорят иначе. Разве ты хочешь быть исключением? Мои молодые друзья называют меня «дядя Фриц».

– Дядя… Фриц, – благоговейно повторила Элизабет.

Он поцеловал ее в лоб.

Огонь свечи упал на висевший на стене портрет. Казалось, красивые глаза замерцали и заискрились, а розовые губы разомкнулись в улыбке.

III

– Куда мог подеваться дядя Фриц? – Паула капризно дернула головкой и осторожно поставила в вазу букет сирени.

– Придет, не беспокойся, – улыбнулся Фрид. – Ведь ты только что вошла, имей терпение. Я уже битый час его дожидаюсь.

– Разве дверь была открыта?

– Нет, заперта, но ключ торчал в замке.

– Он ведь знает, что мы приходим по пятницам. А, нашла! – Паула победно помахала блокнотом. – Тут что-то написано!

– В самом деле?

– Натурально! Сидишь тут битый час и ничего не видишь! Ну Фрид! Ни на что путное мужчины не способны! Еще называют себя венцом творения! Итак: тут сначала несколько стихотворных строк, а потом: «Милые мои дети!..» Ага! «… Мне нужно пойти в город, чтобы купить сахару к чаю, киноварь и кобальтовую синь для палитры, а также шоколадные конфеты для лакомки Паулы. Кекс и масло на столе. Где чашки и сахар, вы знаете. Чай тоже. Чувствуйте себя как дома. Фриц».

– Насчет лакомки – это камешек в твой огород, – ввернул Фрид.

– Отнюдь! Ох уж этот дядя Фриц! Вовсе я не лакомка, – возмущенно выпалила Паула, грызя кекс.

– Совсем не лакомка, – подтвердил Фрид и протянул ей всю вазочку.

– Фрид, до чего же ты противный! – Она топнула ножкой. – Научился у этого Эрнста, слова не скажет без насмешки. Мне восемнадцать лет, прошу это

учесть! Я уже не ребенок, а молодая дама!

– В этом никто и не сомневается!

– А вот и нет! Ты сомневаешься! И обращаешься со мной как с ребенком! Сомнение, выраженное в действиях.

– Нижайше прошу о прощении, сударыня!

– Ну вот, ты опять ехидничаешь.

– Ах… Значит, так прости, Паульхен, ты – молодая дама.

– По правде?

– Воистину!

Ее плутовские глазки смеялись.

– Вот и отлично! Ах, Фрид, глупенький, я вовсе не хочу быть молодой дамой.

Она весело расхохоталась. Фрид совсем растерялся. «Вот и пойми этих длинноволосых», – подумал он.

– Фрид…

– Ну что еще?

– Завтра мы пойдем принимать воздушные ванны, ясно?

– С удовольствием, Паульхен. Может, пойдем и на море, поплаваем?

– Отличная мысль! Чем больше отдаешься солнцу, воде и ветру, тем лучше! Ах, Фрид, до чего же приятно, принимая воздушные ванны, сбросить с себя одежду и предоставить доброму солнышку нежить и ласкать твое тело! Подумай только, недавно я сказала что-то подобное одной приятельнице, и та сочла все это в

высшей степени неприличным. Вот какие люди еще существуют на белом свете!

– Они полагают, что их тело – сосуд греха. А грех-то и есть главная радость жизни!

– Дядя Фриц тоже всегда это повторяет. Мы должны не стесняться своего тела, а радоваться ему! Он и сам поклонник красоты! Более того! Он – служитель красоты! Как великолепно изображает он невинную наготу! Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за такого, как дядя Фриц. Да только второго такого не найти!

– А ты знаешь, что он опять взялся за ту большую картину? Он нашел для нее модель!

– Знаю, сударь. Это моя школьная подруга. Элизабет Хайндорф.

– Она, наверное, существо особого сорта.

– Само собой.

– Ничего удивительного, раз она твоя подруга.

– Вода уже кипит? Настройся на что-то другое, ладно?

– Чайник уже поет.

– Тогда тащи сюда и чайник, и заварку. А также тарелки и чашки. Чтобы дядя Фриц не счел нас за лентяев.

Фрид послушно расставил на столе тарелки и чашки, покуда Паульхен ловко заваривала чай.

– Ах, Фрид! Все наоборот! Цветы поставь вон туда… Может, с художественной точки зрения ты и прав, но с практической – все совсем наоборот. О, бестолковые мужчины, что бы вы делали без нас!

– Ты права, Паульхен, без вас и жить не стоило бы! – раздался веселый голос от двери.

– Наконец-то, дядя Фриц! Ну-ка покажи, что ты купил. Тебя опять надули. О, мужчины!

Она вздохнула и принялась разглядывать покупки. А Фрид поздоровался с Фрицем.

– Над чем нынче трудился, Фрид?

– Да так, ничего особенного. После обеда немного погулял по городскому валу и вновь сделал наброски нашего прекрасного старинного собора. На этот раз со стороны реки. А потом полежал на солнышке в Шелерберге и помечтал.

– Это тоже труд, Фрид. Труд отнюдь не всегда и даже реже всего творчество. Гораздо больше времени занимает восприятие, и это не менее важно. Труд бывает активный и пассивный.

– Я наблюдал за облаками… Облака – вечные изменчивые странники. Облака – как жизнь… Жизнь тоже вечно меняется, она так же разнообразна, беспокойна и прекрасна…

– Только не говори этого при Эрнсте. Если он не в духе, то разразится целой тирадой о недозрелых грезах недорослей…

– Бог с ним, Фриц. Когда он в духе, то грезит еще больше нашего брата. Мир прекрасен. И прекраснее всего – без людей.

– В последнем письме Эрнст пишет так: «Самое прекрасное на земле – это люди. Меня занимает только живое. И в человеке оно, по-моему, наиболее ярко выражено». Вы оба правы, и надеюсь, оба признаете правоту друг друга.

– Дядя Фриц, кончай разговоры, садись-ка за стол и пей чай. У меня все готово, а вы даже не обращаете внимания, – надула губки Паульхен.

– Как красиво ты накрыла на стол!

– Правда, красиво, дядя Фриц?

– Да, очень даже красиво!

– А ты, дядя Фриц, самый лучший человек на земле. Фрид никогда ничего приятного не скажет, он думает только об облаках и щеглах.

– Потому что ты сочтешь, будто я насмехаюсь.

– Паульхен, ты опять принесла цветы?

– Да. И даже немного стащила. В городских скверах столько сирени, что я решила: ничего страшного, если там будет чуть меньше. А для нас чуть больше – это уже много. Так я поладила со своей совестью и взяла эти ветки.

– Девчоночья мораль! – рассмеялся Фрид.

– Спасибо тебе, Паульхен. Но не вступай в конфликт с законом. А то я уже начинаю бояться, что твое следующее письмо придет из тюрьмы.

– Не бойся, дядя Фриц. Если полицейский меня заметит, я умильно погляжу ему в глаза, протяну цветочек и скажу: «Этот цветок я сорвала для вас!» Он меня и отпустит.

– Или же тебя накажут еще строже – за попытку подкупа.

– Да что вы, у девушек свои законы. Их всегда отпускают.

– Согласно законам о несовершеннолетних и умственно отсталых, – съязвил Фрид.

– А злым мальчишкам надо всыпать розог – верно, дядя Фриц?

– Успокойтесь же! – попытался урезонить их Фриц.

– Эту противную привычку насмешничать он перенял у отвратительного Эрнста. Раньше он был совсем другой!

– Еще противнее?

– Нет, приятнее!

– Но быть «приятным» в глазах маленькой девочки вовсе не составляет цель моей жизни!

– Ты – неотесанный варвар!

– А ты – молодая дама.

– Да, я дама…

– К сожалению, в короткой юбке и с косичками.

– Дядя Фриц, помоги же мне! Вышвырни его отсюда!

– Но ведь он говорит чистую правду, Паульхен.

– Так ты еще и берешь его сторону?

– Нет, но ведь он делает тебе комплименты. Ты только вслушайся как следует. Молодая дама с косичками и пышной челкой – это же прелесть что такое!

– Так-то оно так… Но… – Паула в задумчивости сунула палец в рот. – Фрид, ты это хотел сказать?

– Конечно.

– Ну, тогда давай помиримся. Дядя Фриц, у меня будет новое платье. Мама сказала, что ты поможешь нам выбрать материю. Согласен?

– Безусловно. Тебе нравится васильковый цвет?

– Васильковое у меня уже есть.

– Тогда – белый шелк…

– О, белое…

– Ну, тогда тончайший батик на черном шелковом чехле – и совершенно необычайный фасон. Рукава в виде крыльев бабочки и так далее. Я нарисую.

– О да, о да…

– Vanitas vanitatum[7 - Суета сует (лат.).], – вздохнул Фрид. – Чем была бы женщина без платьев…

– А мы и так бываем без платьев – на пляже…

– Опять туда собираетесь, дети мои?

– Да, дядя Фриц, уже совсем тепло.

– Вот и прекрасно! Солнце делает чистыми и тело, и душу.

– До свиданья, дядя Фриц.

– Побудьте со мной еще немного, детки.

– Нет, тебе же нужно работать. До свиданья… До свиданья…

И Паула, пританцовывая, выскочила за дверь.

– Наш местный смерч! – промолвил Фриц. – Нынче Общество красивых национальных традиций устраивает вечер старинных хороводов. Сходите туда.

– Хорошо! До свидания, Фриц.

Фриц широким шагом пустился вдогонку Пауле. В комнате воцарилась тишина.

Солнце светило в маленькое окошко в крыше и рисовало на полу золотистые крендели. Фриц набил табаком трубку. Потом поставил на стол металлическую пепельницу тонкой чеканки, похожую на греческую чашу, раскурил трубку и стал глядеть сквозь голубые кольца дыма. В тот прощальный вечер они с Лу пили пурпурное вино из этой мерцающей чаши, потому что у него не было бокалов, – да они в них и не нуждались, когда Лу по дороге в церковь на церемонию обручения еще раз забежала к нему, обняла его и зарыдала: «Я не могу… Не могу, любимый…»

Тут и у Фрица из глаз полились слезы, и он выдавил: «Оставайся… Оставайся со мной…»

Тем не менее они расстались – пришлось расстаться.

В тот вечер, переполненные чувствами от этой прощальной встречи, они подняли золотистую чашу с искрящимся вином к звездам и прокричали им о своей любви и своей боли.

Фриц отложил трубку в сторону и пошел в мастерскую. Вытащив подрамник с холстом, он начал писать. Час проходил за часом – Фриц ничего не слышал, так погружен был в свою работу. Наконец сгустившиеся сумерки вынудили его отложить кисть. Он провел ладонью по лбу и оглядел сделанное. Потом с довольным видом отодвинул мольберт, насвистывая, взял трость и шляпу и вышел на вечернюю улицу.

Каштаны мирно покачивали кронами.

Спустя час Фриц вернулся. Он зажег лампу и принялся просматривать номера журнала «Красота».

За окном на землю медленно опускалась ночь.

Несколько чудесных фотографий обнаженного тела чрезвычайно пришлись ему по вкусу.

Вдруг в дверь постучали.

Он решил, что это кто-нибудь из его юных друзей.

– Прошу.

На пороге выросла высокая элегантная дама, и чистый дрожащий голос сказал:

– Добрый вечер, господин Шрамм. Фриц вскочил.

– Сударыня, как я рад…

– Я вам не помешаю?

– Только в том случае, если сразу же захотите уйти.

– Значит, не мешаю. Вы мне столько рассказывали о своем Приюте Грез, что меня разобрало любопытство…

Она сбросила шелковый плащ на руки Фрица и огляделась. А Фриц залюбовался ею. Тонкий шелк мягкими складками ниспадал с ее высокой фигуры. Беломраморная шея гордо вздымалась из глубокого выреза платья, легко поддерживая красивую голову с копной темных волос. На шее поблескивала нитка матового жемчуга.

– Вы ничуть не преувеличили, господин Шрамм, эта комната и впрямь приют грез. Тут так уютно и покойно. Я не выношу бальных залов, залитых светом множества свечей. Так что здесь мне вдвойне приятно.

Фриц пододвинул гостье кресло, и она небрежно опустилась в него.

– Нынче вечером я угощу вас чаем с английскими бисквитами. Только не возражайте! А потом – никаких конфет, зато – представьте себе! – вишни, уже сейчас, в мае. Один друг прислал мне сегодня утром посылку из Италии. Затем выкурим по сигарете. Согласны?

Она кивнула и с удовольствием следила за его приготовлениями.

– У вас здесь все дышит покоем, господин Шрамм. Нынче это большая редкость. Все гонятся за счастьем и золотом, что отнюдь не одно и то же. И тем не менее в конечном счете зачастую – одно и то же. Вы нашли свое счастье, господин Шрамм?

– Я не знаю, что такое счастье, особенно если иметь в виду расхожее обывательское понятие: истинное счастье – в довольстве. Это, конечно, верно – но только в среднем. Для нас, людей с чувствительной нервной системой, с особым душевным складом, я бы сказал так истинное счастье – это мир в душе! Это почти то же самое, и все же совсем другое. Довольство может быть просто так, само собой, без борьбы, без особых усилий. И даже большей частью так оно и есть. Мир в душе обретаешь только после борьбы, после жестоких боев и блужданий. Ясное понимание своего «я»…

– Оно есть у вас, господин Шрамм?

– Я сейчас скажу, сударыня, хотя мир в моей душе отнюдь не золотой. Скорее, смутно-фиолетовый, меланхоличный… Но все-таки мир.

– Когда его обретаешь?

– Когда находишь путь к себе.

– Это трудно?

– Это – самое трудное!

Женщина кивнула.

– И требуется еще одно: оставаться верным самому себе.

– Но это невозможно, господин Шрамм.

– Возможно, если владеешь своей душой.

– Тогда нужно стать отшельником. А разве это достижимо, когда живешь среди людей?

– Не просто достижимо, а так оно и есть. Если у тебя своя интонация, своя песня, свой тон – ты и есть такой человек.

– Но в обществе подобных людей не найдешь. Там есть остроумные, утонченные, хорошо воспитанные, но Человека с большой буквы там нет.

– Неужели в самом деле все так плохо? Может быть, нужно приложить немного усилий? Правда, такие люди не всегда самые интересные и выдающиеся…

Женщина задумчиво взглянула на него.

– Вы совсем не такой, господин Шрамм.

– С каких это пор дамы стали говорить комплименты мужчинам?

– Это не комплимент. В ранней юности я мечтала о таком друге, как вы. Вероятно, тогда многое вышло бы по-другому.

– Я люблю – и этим все сказано.

– Любите?

– Правда, не в общепринятом смысле. Я люблю все: природу, людей, деревья, облака, страдания, смерть. Одним словом – жизнь! Я – оптимист и экстремист любви.

– У вас было мало разочарований…

– Очень много!

– И тем не менее?

– И тем не менее!

– Странно…

Лампа начала потрескивать. Фриц взял серебряное блюдо с вишнями и поставил его перед дамой.

– Нынче вечером вы не играете, сударыня?

– Завтра начну. Видите ли, именно поэтому я и подумала о вас и решила вас навестить…

Женщина вынула из сумочки программку и протянула Фрицу.

Он прочел вполголоса: «Богема» – опера Россини. Мими – Ланна Райнер».

– Да, я должна петь партию бедной маленькой Мими. На генеральной репетиции сегодня я очень живо вспоминала вас и ваш Приют Грез. Наши актеры нынче – уже совсем не богема. Они хорошо воспитаны, очень корректны, весьма добропорядочны, а у вас я все еще ощущаю некоторый налет эдакого…

– Вы играете завтра в «Богеме», – мечтательно протянул Фриц. – Я долго не мог слушать эту вещь, потому что она меня слишком брала за живое. Там изображена очень сходная судьба. – Он кивнул на красивый портрет на стене. – Но завтра я обязательно пойду.

– Я очень рада. Может быть, вы потом скажете мне свое мнение?

– Когда это можно будет сделать?

– В тот же вечер.

– Но вы же наверняка приглашены?

– Да, это правда – даже всей мужской частью местных сливок общества.

– Значит…

– Вовсе нет! Эти пошляки мне отвратительны. Я хочу наконец беседовать с настоящими людьми. А говорить комплименты всякий мастер. Цель всегда крайне эгоистична и насквозь видна. Терпеть их не могу! – Она встала. – Значит, около десяти у малого входа.

Фриц поцеловал ей руку.

– Благодарю вас за это.

Она странно взглянула на него.

Потом ушла. Фриц светил ей, пока она спускалась по лестнице. Лампа отбрасывала диковинные пятна света и тени на ступени и перила.

Еще час Фриц посидел при лампе. Он больше не читал, просто размышлял о странностях человеческого бытия. Его даже дрожь пробрала, когда он подумал, насколько все случайно и призрачно в жизни. Капелька тумана, дуновение вечернего ветерка – они не ведают, откуда берутся и куда деваются… Так и человеческая жизнь – лишь смутный сон перед рассветом…

Свет лампы покойно лежал на красивом портрете.

И лицо на нем улыбалось.

IV

Весеннее солнце ослепительно сияло над привокзальным бульваром. Ласточки щебетали, строя свои гнезда в просторном портале, несмотря на шум и суету вокруг.

Элизабет медленно пересекала площадь перед вокзалом, когда прибыл поезд и толпа людей выплеснулась на площадь. Элизабет невольно остановилась. И вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Пара дерзких серо-голубых глаз на загорелом лице и впрямь упорно глядели в ее сторону. Она смущенно потупилась. Потом посмотрела вслед удаляющейся стройной фигуре в сером

дорожном костюме. Лицо показалось ей знакомым. Но как ни старалась, она не могла вспомнить, кто это был.

Фриц сидел в своей мансарде и подбирал краски. Вдруг вверх по лестнице взлетели шаги, дверь распахнулась, и громовый голос воскликнул: «Фриц! Старина Фриц!» – а крепкие руки схватили его в объятия.

– Эрнст, мальчик, неужто это ты, собственной персоной? Откуда ты взялся нежданно-негаданно?

– Просто взял и удрал. Покончил с этим училищем для старых дев на восемь дней раньше. Фриц, дружище, на дворе весна, разве можно в такое время зубрить контрапункт и фугу? Я больше не мог – и вот я тут. Где же девушки этого города? Немедленно их всех сюда! Мне нужны целые полчища особ женского пола!

– Спокойно, спокойно, мой мальчик. В маленьком городке жизнь течет тихо. А у тебя бешеный темп. Может, тебе стоит сперва освежиться и выпить чашечку кофе?

– Идет! Ты прав! Нужное и практичное вечно вылетает у меня из головы. Итак, вторгаюсь в твою святая святых и потоками радоновых вод провинциального городка начисто вымываю из головы грешные мысли большого города. А потом – чаю, Фриц! Только настоящего, крепкого, какой бывает только в твоем Приюте Грез! Идет?

Уже через секунду он плескался и фыркал за стеной, пока Фриц накрывал к чаю.

– Ну, Эрнст, а теперь давай рассказывай.

– Чего там рассказывать! Это дело для старых баб! Займусь им, когда состарюсь, поседею и дряхлым беззубым старцем засяду за мемуары. Но чтобы теперь? Я здесь! И этим все сказано!

Фриц добродушно улыбнулся:

– Еще успеешь наговориться.

– А вот ты, Фриц, давай выкладывай. Как у тебя дела? Как твои картины? Все закончил? Доволен?

– Я обрел модель для моей большой картины и вместе с тем новую молодую и прелестную приятельницу.

– Она хороша собой?

– В высшей степени. Эрнст радостно присвистнул.

– И чиста, как ангел, Эрнст!

– Чиста? Чиста… – Он посерьезнел. – Это много. Или даже все… Ты ее любишь, Фриц?

– Как тебя, Эрнст.

– В таком случае пусть она будет мне сестрой.

– Так я и знал, Эрнст. Спасибо.

– Ну, это же само собой разумеется, Фриц.

– Сколько времени ты здесь пробудешь?

– О, сколько вздумается. До смерти надоело жать на педаль. Хочу в Лейпциг – там мне дадут последнюю шлифовку. А как дела у Фрица? Он сейчас здесь, да?

– Да, вот уже несколько недель. Он закончил курс в Дюссельдорфе и теперь трудится тут. Получил заказ на две крупные картины, а кроме того, рисует узоры для фабрики обоев. Между делом продает также экслибрисы, монотипии, а чаще – рисунки пером и силуэты из черной бумаги, оформляет книги, – в общем, дела у него идут неплохо.

– Рад слышать. А что у Паульхен?

– Как всегда, непоседлива и любит перечить, торопится стать взрослой, и действительно скоро станет.

– Пойдешь со мной на вокзал, Фриц? Хочу забрать чемоданы.

Они не спеша двинулись к вокзалу, оживленно беседуя. Внезапно на них налетел щебечущий и пахнущий духами ураган: Паульхен!

– Эрнст! Ты ли это или твой дух?

– И то и другое, Паульхен. Ибо мужчина всегда держит свой дух при себе, в то время как у молоденькой девицы весь ее дух в бездуховности.

– Вот это да! – охнул Фриц.

– Дядя Фриц, видишь, он опять задирается! Фу, Эрнст!

– Куда ты направляешься в этом восхитительном розовом облаке газа, Паульхен?

– На гулянье, дорогой дядя Фриц.

– На гулянье? – переспросили оба разом. – А что это?

– Ну, на променад, если тебе так будет понятнее, господин Эрнст, на главной улице гулянье с половины шестого до половины седьмого.

– Ах вот оно что, понял, – заметил Эрнст, – раньше мы называли это Гусиный луг.

– Помолчи, противный. До свиданья, дядя Фриц. – Паула убежала, но тотчас вернулась: – До свиданья, Эрнст.

– Так-то оно лучше. Желаю повеселиться, Паульхен.

Они пошли дальше. На вокзале Эрнст вручил служителю квитанции и адрес. И тут же предложил отправиться в кафе.

– В какое? – уныло спросил Фриц.

– В «Виттенкинд». Вперед, старина, не скисай. Нужно же мне повидаться с вашими девочками.

– А у вас там их, что ли, не было?

– О Господи, какие это девочки! Они все сплошь «образованные»: либо уже пооканчивали университеты, либо еще учатся. Внешние признаки последних: стоптанные каблуки, пенсне в черной оправе, обтрепанные подолы. Или же: зализанные волосы, мужская рубашка со стоячим воротничком и длинными рукавами. Хуже всех студентки музыкальных училищ. Особая категория – дочки художников. Платья с большим декольте при наличии гусиной шеи и угловатых плеч, а также отсутствии бюста. Не придают внешности никакого значения! Во-вторых: они тоже «образованные». Новый сорт. Пьют только чай, малюют альпийские ландшафты, играют на рояле «Тоску по родине», «Молитву девы» и «Любовную жалобу», читают «А любовь никогда не кончается», «Разбитые сердца» и так далее. Однажды я показал двум-трем из них несколько номеров журнала «Красота».

О Боже, какой был взрыв! Таков этот народец! О солнце, свежем воздухе и красоте они и ведать не ведают, эти бесполые книжные черви! Фриц, «образованная» женщина – это чудовище. У нас есть все мыслимые законы, но нет такого, который обязывал бы, чтобы всех девиц, со скуки ударяющихся в политику или сочинительство, немедленно отдавали замуж. После этих эстетствующих бесцветных рож человека неодолимо тянет к простым, сердечным, милым девушкам, которые целуют и любят, как велит мать-природа. Вывод: в добрый час!

В кафе было довольно много посетителей, так что им пришлось поискать место. За одним из столиков в центре зала сидела очень элегантная молодая дама. Эрнст поклонился ей с легкой иронией. Она подняла глаза и спросила не очень уверенно:

– Господин Винтер?

Эрнст с улыбкой протянул даме руку.

– Добрый день, фройляйн Берген. Я ищу два свободных места и вдруг вижу их за вашим столиком.

– Прошу вас, пожалуйста.

Эрнст представил Фрица, и оба уселись. Эрнст взглянул на Трикс Берген. Та залилась краской и сказала:

– Я давно вас не видела, господин Винтер.

– Меня здесь не было. Я только сегодня приехал.

– А я – три дня назад. Где же вы были?

– В Берлине.

– Ах, Берлин! Такой прекрасный город! Множество развлечений и шумных празднеств.

– И густонаселенные дома-казармы, – ехидно ввернул Эрнст.

– А на них смотреть вовсе не обязательно. Жизнь свою нужно обставить как можно приятнее.

– А что потом? – спросил Фриц.

– Ах, потом меня не волнует. Ведь сегодня еще сегодня! Я пока молода и красива. – Она начала подпевать мелодию оркестра и поводить плечами. – Мне так хочется потанцевать. Но в этих отвратительных городишках ничего такого нет. То ли дело Берлин – там везде есть танцплощадки. Бостон, фокстрот, матчиш, капельмейстер входит в раж – и тут начинается. Но здесь… – Трикс прищелкнула пальцами. – Я скоро уеду снова.

– Опять в Берлин?

– Конечно! Там всегда много всего…

– Для счастья вовсе не обязательно жить в большом городе, – заметил Фриц.

– Счастье можно найти и в медвежьем углу, тут вы правы.

– Само понятие о счастье бывает разным, – вставил Эрнст. – У меня есть прелестная знакомая, которая пишет мне, что совершенно счастлива: у нее родился ребенок. Трикс звонко рассмеялась:

– Не повезло ей!

Эрнст спокойно посмотрел на нее:

– Она замужем и давно хотела ребенка.

– Каждому свое. А я против этого удовольствия, я хочу жить!

– Жить можно по-разному – внутри себя и вовне, – ответил Фриц. – Вопрос лишь в том, какая жизнь ценнее. Шампанское, туалеты, кавалеры, празднества – мне кажется, со временем все это тоже надоедает и наводит тоску. А чем кончается песня? Что остается в старости? Другая жизнь кажется мне, напротив, возвышеннее. Для женщины, высший смысл которой состоит в ее женственности, материнство – прекраснейшая доля! Подумайте только, как это замечательно: продолжать жить в детях и таким образом обрести бессмертие.

Вспыхнув, Трикс перебила его:

– Кто вы такой? И что вам от меня нужно?

А Фриц продолжал как ни в чем не бывало:

– Женщина, не ставшая матерью, упустила самое прекрасное, да, самое прекрасное, что было ей написано на роду. Какое разливанное море счастья для матери заключено в первых годах ее ребенка, от первого неразборчивого лепета до первого робкого шага. И во всем она узнает себя самое, видит себя молодой и воскресающей в своих детях. Женщина может натворить в своей жизни бог знает что. Но одно-единственное слово все перечеркивает: она была матерью. Вероятно, вы знаете это еще от вашей матушки.

Трикс уставилась на него невидящими глазами. Потом резко вскочила и вышла из зала.

Эрнст заговорщически улыбнулся. Вскоре вышел и он.

Вернувшись, Эрнст не мог скрыть волнения:

– Она стояла в гардеробе и сотрясалась от рыданий, – рассказал он. – Я мягко поговорил с ней и дал твой адрес. Она все время спрашивала: «Кто этот человек? Что это со мной?» Наверное, она вскоре к тебе заявится.

– А я намеренно все это сказал, – заявил Фриц. – Я раскопал глубоко зарытое и заставил звучать забытые струны. Они еще долго будут звенеть в ее душе, образуя диссонанс с другими струнами, вибрации которых доныне заполняли жизнь. Вопрос только в том, какие окажутся сильнее. Эрнст кивнул:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Рюккерт Фр. Слышу до сих пор. Пер. В. Летучего.

2

Йозеф Эйхендорф (1788–1857) – немецкий писатель-романтик. – Примеч. ред.

3

Эйхендорф И. Томление. Пер. В. Микушевича.

4

Гогенштауфены – династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138–1254 гг., в 1197–1268 гг. также короли Сицилийского королевства. Последний Гогенштауфен – Конрадин, сын Конрада IV – погиб в Италии в 1268 г. в возрасте 16 лет.

5

Мориц фон Швинд (1804–1871) – австрийский живописец и график. Иоганн Якоб Вильгельм Гейнзе (1746–1803) – немецкий писатель и теоретик искусства. Вильгельм Мюллер (1794–1827) – немецкий поэт-романтик. – Примеч. ред.

6

Разговорный английский (англ.).

7

Суета сует (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/erih-mariya-remark/priyut-grez-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити